

КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

НОВЬЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА О ДОСТОЕВСКОМЪ

1

Не юбилейными торжествами, конечно, объясняется расцвѣтъ за послѣдніе два, три года литературы о Достоевскомъ и возросшій всюду интересъ къ его творчеству. Если созданія Достоевскаго и идеи его становятся какъ бы центромъ русскаго мышленія, во кругъ цихъ кристаллизующа- гося, въ борьбѣ противъ нихъ или, въ усвоеніи ихъ себѣ опредѣляющаго, то зависитъ это отнюдь не отъ временійъ, слу- чайныхъ обстоятельствъ. Причины здѣсь — болѣе глубокія: психологическая, соціальная, философская и религіозная.

Все болѣе выясняется, что Достоевскаго нельзя размат- ривать, какъ одного только изъ величайшихъ русскихъ художниковъ и мыслителей, но что онъ — явленіе въ русской жиз- ни дѣйствительно источни- тельное, въ точномъ значеніи этого выраженія — изъ ряда выходитъ, что въ немъ воз-

жегся, и прежде всего для насъ, русскихъ, какой-то особый свѣтъ, что имъ сказано о настоящемъ и будущемъ человѣка какое-то новое слово, которое нужно понять, которое, быть можетъ, слѣдуетъ преодолѣть, но которое необходимо, во всякомъ случаѣ, пережить до конца. Всѣ мы, хотимъ-ли этого или не хотимъ, ориентируемся по Достоевскому, отношеніе наше къ нему является опредѣляющимъ для каждого изъ насъ; мы идемъ съ Достоевскимъ, или противъ него; или透过 него, или мимо. Можно ненавидѣть Достоевскаго, испытывать даже къ нему, къ его искусству, къ его героямъ, къ его мышленію, органи- ческое отвращеніе; можно любить его, быть плененымъ имъ, зачарованнымъ, по безразли- чie или пренебреженіе невоз- можно.

И полонъ значенія, конечно, тотъ фактъ, что именно послѣ революции возникъ чуть-ли не кульпъ Достоевскаго, влеченіе

иъ нему и тревога: лишь пережитыя нами соціальнія потрясения и связанные съ ними душевный и духовный кризисы, исколыхнувшіе насть, лишь они дали намъ возможность глубже осознать Достоевскаго и почувствовать истинный смыслъ его свидѣтельства о человѣкѣ. Кризисы духовные, и политическія и соціальнія революціи обычно, не синхроничны; но въ связи съ революціей и послѣ нея постигается сущность предшествовавшаго ей духовнаго сдвига. Такъ было съ французской революціей 1789 г., раскрыпей подлинное значеніе и объемъ развернувшейся въ теченіи XVIII в. умственной и сентиментальной эволюціи, неясной еще для самихъ ея дѣятелей. То же повторилось и въ русскую революцію. Основоположная для изученія Достоевскаго работы Мережковскаго, Розанова, Шестова, Волынскаго появились еще до революціи 1917 г., отдѣльные, рѣдкіе умы понимали уже тогда, что дано намъ въ творчествѣ Достоевскаго; но все значеніе этого новаго, углубленнаго пониманія Достоевскаго, дальнѣйшее его развитіе и, въ особенности, личное, непосредственное, чутъ ли ис каждаго изъ насть, отношеніе къ Достоевскому, какъ къ событию нашей собственной жизни, требующему оценки, рѣшеннія, окончательного принятия или отказа, Достоевскій — какъ дра-

ма нашего сознанія, — все это стало возможнымъ лишь на почвѣ душевной, вспаханной революціей и войной, которыхъ раскидали, разбѣгали верхніе слои души и подняли на поверхность, на свѣтъ, глубочайшіе слои.

Среди книгъ о Достоевскомъ, появившихся въ теченіи послѣднихъ мѣсяцевъ, остановлюсь на трехъ; онѣ очень отличны одна отъ другой по тону своему, по заданіямъ, по самому подходу своему къ твореніямъ Достоевскаго. Общее у всѣхъ трехъ — признаніе несравненности, исключительной цѣнности совершеннаго Достоевскимъ дѣла, пріятіе его творчества; но первыя двѣ ставятъ себѣ болѣе узкія, частныя задачи.

II

Проф. И. И. Лапшинъ посвятилъ свою книгу изслѣдованию «Эстетики Достоевскаго» (Изд. «Обелискъ», Берлинъ, 1923 г.). Тема сложная, богатая, почти вовсе неразработанная.

Подъ «Эстетикой Достоевскаго» можно понять вѣдь, не только теоретические взгляды писателя на искусство, на красоту, на художественное творчество, какъ они проявляются въ письмахъ, въ дневникахъ, въ эстетическихъ статьяхъ, въ высказываніяхъ его героевъ и въ его собственныхъ высказываніяхъ, по выраженію Лапшина, но

также совокупность художественныхъ приемовъ писателя, осуществляющихъ на дѣлѣ его теоретические взгляды (не всегда), практика художника. И нужно сказать, что эта «практическая», реализованная эстетика гораздо цѣннѣе, гораздо характернѣе для художника, чѣмъ его теоретическая высказыванія. Мнѣнія Достоевскаго о реализмѣ и идеализмѣ — очень интересны, конечно; но они никакъ не свидѣтельствуютъ намъ о томъ, чѣмъ было дѣйствительно его искусство, въ чемъ сила его, какъ построены его романы, что въ нихъ оть реалистического метода и что — оть идеалистического. Но этой эстетики, практической, Лапшинъ во все не касается. Однако, какое нибудь одно только открытие изъ области формы у Достоевскаго показательнѣе, для его эстетического «мірочувствованія» и «міросозерцанія», подобноѣшаго воспроизведенію его эстетическихъ мірѣній. Мы скажутъ, быть можетъ, что Лапшинъ вполнѣ сознательно ограничилъ свою задачу; возможно; но въ этомъ именно и вину его ошибку.

Что сказали бы мы объ историкѣ, озаглавившемъ свой трудъ — «Политика Бисмарка» и ограничившемся воспроизведеніемъ взглядовъ Бисмарка, выраженныхъ имъ въ рѣчахъ, и ни однимъ словомъ не обмолвившемся о политиче-

ской дѣятельности своего героя?

Эстетику Достоевскаго, въ томъ даже узкомъ смыслѣ, который придаетъ ей Лапшинъ, возможно было связать, съ другой стороны, со всѣмъ строемъ мышленія писателя, съ его религіозной и общественной философіей, съ его мистикой. Наиболѣе значительные мысли Достоевскаго о красотѣ лишь въ этомъ метафизическомъ аспектѣ приобрѣтаютъ весь смыслъ свой. Но Лапшинъ уклонился отъ этой трудной задачи и, такимъ образомъ, напримѣръ, известная фраза о красотѣ, спасающей міръ, получаетъ слѣдующее упрощенное и благодушное толкованіе: «Достоевскій, заявляя, что красота спасаетъ міръ, не думаетъ, однако, объ субординації нравственности искусству или обратно: искусства — нравственности, но объ ихъ координації, подобно Канту и Шиллеру и, въ новѣйшее время, Когену. Слово «красота» въ приведенной тирадѣ слѣдуетъ понимать въ смыслѣ высшей гармоніи, а не въ смыслѣ специальному искусства, художества». Потрясающая рѣчь Мити Карамазова о красотѣ: «Красота — это страшная и ужасная вещь» и т.д., приводится какъ иллюстрація положенія: «влечеши къ красотѣ иногда нравственно унижаешь человѣка».

Въ общемъ «Эстетика Достоевскаго» И. И. Лапшина пре-

бываетъ всецѣло въ области психологіи. Область формаль-
ной эстетики была автору зака-
зана, потому что онъ отказался
отъ изслѣдованія «практиче-
ской» эстетики Достоевскаго,
его художественныхъ, создав-
ших; что же касается религіоз-
но-философской трактовки эсте-
тической проблемы, то она ока-
валаась ему не подъ силу. При-
шлось, такимъ образомъ, огра-
ничиться психологіей творче-
ства и вѣсмолькими эстетиче-
скими общими мѣстами, уже
давно почющими по популяр-
нымъ руководствамъ: точное
воспроизведеніе дѣйствитель-
ности — не есть искусство; под-
дѣлка подъ дѣйствительность
приводить къ мистификаціи, а
не къ художественной иллю-
зіи и пр. и пр. Поверхностность
и банаальность всѣхъ этихъ мы-
слей еще подчеркивается науч-
нымъ аппаратомъ, пускаемымъ
въ ходъ проф. Лапшинъ: ме-
лочными подраздѣленіями,
ссылками на Гегеля, на Плато-
на, на Меймана, сопоставле-
ніемъ взглядовъ Достоевскаго
съ взглядами Гюго, Чушкина,
Гоголя, Ап. Григорьева. Ре-
зультаты же всей этой кропот-
ливой работы самые ничтож-
ные. Нѣкоторый же замѣчаній
поражаютъ своей наивностью.
Такъ, шутка чорта въ комарѣ
Ивана Карамазова: «насчетъ
этого даже цѣля задача: одинъ
министръ говорилъ мнѣ, что
всѣ лучшія идеи приходятъ къ
нему, когда онъ спитъ», — при-

водится по поводу вопроса «объ
изобрѣтательности во снѣ», въ
подтвержденіе значенія, прида-
ваемаго Достоевскимъ художе-
ственному творчеству во снѣ.

Книжка Лапшина мнѣ пред-
ставляется, однако, весьма сим-
птоматичной, и я намѣренъ начать
именно съ нея обзоръ свой
новѣйшей русской литературы
о Достоевскомъ.

Какъ вѣрою замѣчать Лап-
шинъ, «въ настоящее время во-
просъ объ эстетикѣ Достоевско-
го никому не покажется стран-
нымъ, но четверть вѣка тому на-
задъ онъ вылавль бы у многихъ
литераторовъ недоумѣніе... Въ
настоящее время подобное от-
ношеніе къ эстетической сторо-
нѣ творчества Достоевскаго, пред-
ставляетъ... лишь историче-
скій интересъ». Въ дадынь-
шемъ, однако, самъ Лапшинъ,
какъ мы видѣли, не постремъ
анализа своего на томъ основа-
ніи фытъ, что Достоевскій —
художникъ, и произведения его
— суть именно произведенія
художественныя. Какъ мы да-
лѣе убѣдимся, таковъ же во-
ренной порокъ и книга Выше-
славцева и Бердиева: обѣ
онъ пренебрегаютъ тѣмъ
именно, что составляеть
своебразіе Достоевскаго, едини-
ческую, неповторимую че-
рту, его творческой дѣятельно-
сти.

Достоевскій не есть вовсе
художникъ и не есть психологъ,
и не есть метафизикъ, и не есть ми-
стикъ и пророкъ; нельзя точир-

также рассматривать художественные его образы въ качествѣ воплощенія его идей, и видѣть гений его именно въ томъ, что онъ сумѣлъ придать отвлеченнымъ идеямъ живую конкретность. При такомъ истолкованіи личности и творчества Достоевскаго, художественная дѣятельность его пріобрѣтаетъ характеръ дополнительный, случайный: онъ могъ написать свои романы, но могъ и не написать ихъ и ограничиться публицистикой, критическими и политическими статьями «Дневника Писателя». Но достаточно продумать мысль эту до конца, чтобы обнаружилась ся ложь: здѣсь какъ разъ обратное отношеніе: если бы Достоевскій не былъ именно тѣмъ художникомъ, какимъ онъ былъ, если бы онъ не написалъ «Преступлінія и Наказанія», «Подростка», «Братьевъ Карамазовыхъ» и пр., то не написалъ бы и статей своихъ, т.е. написалъ бы иначе, проводилъ бы въ нихъ другія мысли, и публицистика его и философія его были бы иная. Не воплощеніемъ вовсе его идей служатъ его романы, но идеи эти выросли изъ его астетического творчества; они обусловлены своеобразiemъ формальными, астетическими особенностями произведений, ихъ формой, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Не романы вовсе Достоевскаго являются результатомъ, послѣднимъ этапомъ его мышленія,

но мышленіе — плодъ его творческой, художественной дѣятельности.

Уже давно отмѣчено, что длинная подчасъ теоретическая разсужденія, встрѣчающіяся въ романахъ Достоевскаго, никогда не производятъ впечатлѣнія вставокъ, того, что французы называютъ «*hors d'oeuvre*»: «Легенда о великому инквизиторѣ» входить органически въ романъ; она — необходимый моментъ его развитія, дѣйствующая въ немъ сила, существенный элементъ его конструкціи, формально оправдываемый, необходимый для характеристики и Алехина и Изайна. Формальное значеніе этой легенды очевидно, точно такъ же, какъ психологическое, характеристическое ся значеніе. Но такое эстетическое истолкованіе легенды еще недостаточно: необходимо совершиТЬ и дальнѣйшій шагъ и признать, что и самое содержаніе ея обусловлено эстетическимъ, т.е. признать, что идеи, развиваются въ ней Достоевскимъ, обусловлены жизнью художественныхъ образовъ Ивана, Алехина, Дмитрия, всей семьи персонажей романа и ихъ взаимоотношеніями, что Достоевскій могъ притти къ этимъ именно идеямъ лишь черезъ образъ Ивана и лишь въ процессѣ творческаго развертыванія этого образа. Не о воплощении въ образахъ теорій и идей нужно говорить примѣнительно

къ творчеству Достоевского, но, наоборотъ, о возникновеніи теорій, идей черезъ конкретный образъ и его развитіе, обусловленномъ эстетически, т.е. формально, а это значитъ: своеобразнымъ языкомъ Достоевскаго, своеобразной, трагической конструкціей его романовъ, концентраціей въ нихъ дѣйствія по предѣла, особенностями техническихъ, литературныхъ приемовъ его.

Но отсюда слѣдуетъ, что характеристика Достоевскаго, какъ художническаго типа и анализъ его романовъ, какъ художественныхъ произведеній, какъ эстетическихъ феноменовъ должны лечь въ основаніе изученія мыслей Достоевскаго, выросшихъ изъ этихъ эстетическихъ феноменовъ, съ ними вмѣстѣ развивающихся, въ коренной интимной связи; ибо діалектика Достоевскаго не есть вовсе діалектика Гегеля или даже Платона, но совершенно особая діалектика идей-образовъ, точно — жизнь этихъ образовъ.

Эстетики Достоевскаго унась, однако, еще нѣть. Имѣются отдѣльныя, порою мѣткія и глубокія, замѣчанія объ искусствѣ Достоевскаго у Вицеслава Иванова, напр., но мы не располагаемъ еще общей работой о Достоевскомъ, какъ о художнике, о произведеніяхъ его, какъ о художественныхъ созданіяхъ; а такая именно работа и могла бы дать намъ

ключъ къ уразумѣнію его мышленія.

III

Разительный примѣръ пре-пебреженія эстетическимъ моментомъ уже не только въ лѣтильности Достоевскаго, но и во всей русской культурѣ — небольшая книжка, скорѣе брошюра, Б. Вышеславцева — «Русская стихія у Достоевскаго» (изд. Обелискъ, Берлинъ, 1923 г.). Характеристика русской стихіи, излагаемая авторомъ по Достоевскому, вполнѣ соотвѣтствуетъ популярному о стихіи этой представлению, ставшему уже въ литературѣ общимъ мѣстомъ.

«Русская стихія — она чувствуется каждымъ русскимъ какъ непонятная и непередаваемая иностранцамъ сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы».

«Русская стихія есть хаосъ, но вѣдь въ хаосѣ содержится потенциальнѣ все — и добро и зло, и гармонія и диссонансъ, и красота и безобразіе, въ немъ все титанически нагромождено и дико смѣшано. Такова и русская душа, полная невѣроятныхъ противорѣчій». Изъ этого, конечно, должно слѣдоватъ, что французская душа, или немецкая душа не злаетъ противорѣчій, что она добра или зла, прекрасна или безобразна, отнюдь не хаотична и потенциальнѣ

по бѣдна; но откуда же черпать въ такомъ случаѣ силы свои европейское искусство?.. Не пора ли отказаться разъ на всегда отъ этихъ элементарныхъ, дѣтски-наивныхъ и пішеславныхъ характеристикъ!..

Дальше — «Сущность русской души есть безпредѣльность». «Душа Россіи неоформлена». «Она полна страшныхъ неопределенностей; она безобразна и потому порою безобразна». «Вотъ загадка русской души — она какъ бы любить безформенность, незавершенность». «Вотъ (Ставрогинъ) русская стихія во всемъ ея трагизмъ... Но сила ея, мощь этого хаоса... его напряженіе огромно».

Таковъ, возможно, одинъ изъ аспектовъ русской стихіи; но, конечно — не единственный, и словами этими нельзя определить ее въ цѣломъ. Самъ авторъ приводитъ фразу Достоевскаго по поводу разстрѣливаній причастія и состоянія царей въ русской деревнѣ: «кто-коего дерзости ще сдѣласть»: «этотъ фактъ и эти типы въ высшей степени изображаются намъ весь русскій народъ въ его цѣломъ. Это прежде всего забвеніе мѣрки во всемъ (и, замѣтте, всегда почти временное и переходящее, являющееся какимъ-то павожденіемъ). Вотъ именно: «времяное» и «преходящее»; Достоевскій не склоненъ вовсе рассматривать черту эту какъ основную, корен-

ную, опредѣляющую. И, дѣятельно, имѣется явленіе, которое совершенно необъяснимо, если вслѣдъ за Б. Вышеславцевымъ мы подчеркнемъ исключительно этотъ именно аспектъ русской стихіи. Это явленіе — русское искусство и, въ частности, искусство Достоевскаго, гдѣ достигнуто совершенное оформленіе, образованіе именно самого безформенного и безобразного rag excellence. И одна изъ наиболѣе специфическихъ особенностей русского искусства, даже по отношенію къ искусству западному, — это его формализмъ.

Самъ Вышеславцевъ вѣрить въ возможность упорядоченія хаоса русского духа, изъ коего возникнуть, быть можетъ, космосъ; по это упорядоченіе есть для него предметъ вѣры и надежды и лишь залогомъ ихъ являются въ его глазахъ русскіи достижія, религіозныя и художественныя. Но не характерно-ли также для «русской стихіи» и это ожиданіе великольпныхъ будущихъ благъ вмѣстѣ съ пренебреженіемъ къ настоящему, преувеличеннія оцѣнка будущаго и непониманіе настоящаго? Вышеславцевъ указываетъ, что «если чѣмъ и можемъ мы, русскіе, безспорно гордиться передъ западомъ, если можемъ чѣмъ покорять сердца и завоевывать народы, то это, прежде всего, нашимъ искусствомъ». «Русское искусство преображаетъ безуміе». Но не

изъ русской ли стихії выросло и русское искусство? Новгородское и псковское зодчество, древня иконы, народная лирика, народный эпос не свидѣтельствуютъ ли о наличіи въ русской душѣ чувства формы, умѣнія ограничивать себя, себя опредѣлять. «Ярость, наступленность» въ насть есть, конечно, и бываютъ періоды, когда эти именно элементы господствуютъ безраздѣльно и опредѣляютъ собою жизнь народа. Но развѣ они — исключительная принадлежность русской стихії? Неужели не зналь ихъ духъ французский или германскій, нынѣ какъ будто нѣсколько остывшіе? Но развѣ не вѣдала и русская жизнь періодовъ относительного «благолѣпія» или усиленной культурной, сози-
дательной дѣятельности? Здѣсь есть, быть можетъ, ритмъ еще неизѣомый намъ.

Утверждать «космичность» русского духа у насть есть вполнѣ реальная основанія, и для этого намъ вовсе не приходится возлагать туманныя надежды на чесьма проблематичное возникновеніе какой-то «новой міровой религіи», которую, мы русскіе, якобы дадимъ міру.

Черты народнаго духа, явленныя намъ Достоевскимъ, подчасъ глубоко, существенно противорѣчивы — и Достоевскій сознавъ это самъ. Но полны несогласимыхъ рационально противорѣчій и французская, и германская и англійская

народныя стихії. Противопоставленіе «русскаго хаоса», «русскаго изступленія» (Пущинъ?) — «сумрачному германскому гению» (Гете?), англійскому практицизму, англійской трезвости (Шекспиръ? Байронъ?), «галльскому острому смыслу» (Готическое зодчество?) — лишено всякаго содѣянія. Нужно думать, что духовный міръ или стихія какого нибудь народа нисмолько не бѣднѣе, не проще міра индивидуальной души, но вѣдь самъ Достоевскій раскрылъ намъ бесконечную сложность и глубочайшую антиномичность личности, самой простой, самой ничтожной!

IV

Н. А. Бердяевъ — «Міросозерцаніе Достоевскаго» — (Амер. изд., Прага, 1923 г.) опредѣляетъ съ самаго начала очень точно предметъ своего изслѣдованія и свою точку зрѣнія на Достоевскаго и созданія его: «Достоевскій быль не только великий художникъ; онъ быль также великий мыслитель и великий, духовидецъ» (курсивъ мой). Подобный взглядъ, какъ выше указано, представляется мнѣ ошибочнымъ, и «таюже» здѣсь — совершенно неумѣстнымъ: Достоевскій быль великий художникъ и исключительное своеобразіе его художественнаго творчества обусловило его необычай-

ная открытия въ области духа, его метафизическую и религиозную позицію. Когда, следовательно, Бердяевъ говоритъ, что «жизнь идей пронизываетъ его художество», то, думаю, правильнѣе, было бы сказать: «жизнь его художественныхъ образовъ пронизываетъ его идеи».

Итакъ, Н. А. Бердяевъ хочетъ раскрыть міросозерцаніе Достоевскаго; однако, съ первыхъ же словъ онъ откровенно предупреждаетъ читателя, что имъ вложено въ этой книгѣ очень многое отъ собственного міросозерцанія. Подобное привнесеніе своего, личного въ міръ духовный изучаемаго и возсоздавасмаго художника, мыслителя — вполнѣ естественно и неизбѣжно. Давно уже указано, что любой портрѣтъ воспроизводить вмѣстѣ съ моделью избранной художникомъ и художника самого. Книга о міросозерцаніи Достоевскаго, какъ бы ни стремилась она къ объективности, должна необходімо явить памъ и міросозерцаніе самого автора ся.

Тутъ есть, все же, нѣкоторая подвижная и очень гибкая грань, за которой привнесеніе своего и соответствующее измѣненіе модели обращается въ полносъ ея искажение. Но эта опасная грань можетъ быть тѣмъ дальше передвинута, чѣмъ ближе, чѣмъ созвучнѣличности автора и его модели. При из-

вѣтной конгніальности критика, истолкователя, художника съ тѣмъ, чей образъ онъ стремится предъ нами возсоздать, свобода его истолкованія почти безпредѣльна: какъ бы смѣло онъ ни обращался съ избранникомъ своимъ, какъ бы много своего онъ ни привносила въ его образъ, онъ образа этого не исказить; лишь расширить и обогатить его.

Н. А. Бердяевъ предупреждаетъ настъ, что «Міросозерцаніе Достоевскаго» раскрывается и собственное его, Бердяева, міросозерцаніе, не зеркаломъ онъ хочетъ стать, но свободнымъ истолкователемъ, полагая, конечно, при этомъ, что свобода эта не приведетъ къ деформаціи и къ потерѣ образа Достоевскаго - метафизика; дѣйствительно, онъ считаетъ себя созвучнымъ Достоевскому, близкимъ ему, человѣкомъ одной съ нимъ духовной родины: «Я всегда дѣлилъ людей на людей Достоевскаго и людей чужды его духу». Себя онъ причисляетъ безъ сомнѣнія къ «людямъ Достоевскаго». Противъ такой субъективной увѣренности трудно спорить, конечно; со стороны, однако, мнѣ представляется, что Бердяевъ ошибается, что онъ вовсе не «человѣкъ Достоевскаго». «Достоевскій имѣлъ опредѣляющее значеніе въ моей духовной жизни. Еще мальчикомъ получила я прививку отъ Достоевскаго. Онъ потрясъ мою душу болѣе

чѣмъ кто либо изъ писателей и мыслителей»...

Мнѣ думается, что любовь Бердяева къ Достоевскому есть разительный примѣръ влечения человѣка къ своей противоположности. Онъ стремится къ Достоевскому, именно потому что онъ существенно отличенъ отъ него, потому что онъ — человѣкъ иного совершенно склада, иной въ кориѣ природы. Розановъ, Шестовъ, отчасти Мережковскій, Мережковскій прежній, первого тома «Достоевскаго и Толстого» — они созвучны до нѣкоторой степени создателю «Карамазовыхъ»; Бердяевъ же — нѣтъ.

Книгу его слѣдовало озаглавить по справедливости отнюдь не — «Міросозерцаніе Достоевскаго», но — «Міросозерцаніе Бердяева». Бердяевъ пользуется Достоевскимъ, точнѣе иѣкоторыми мыслями и образами его точно такъ же, какъ пользовался онъ иѣкогда Марксомъ, а затѣмъ Кантомъ, Соловьевымъ, Ницше, Шеллингомъ. И это вовсе не лишаетъ книгу ея значенія, хотя значеніе это нѣсколько отлично отъ того, какое вѣроятно придаетъ ей Бердяевъ. Вѣдь большую цѣнность представляетъ и мышленіе самого Бердяева! Кромѣ того, по закону контраста, именно потому что мышленіе это по природѣ своей, по стилю, по музикѣ своей глубоко отлично отъ мышленія Достоевскаго, оно помога-

етъ намъ уяснить себѣ иѣкоторыя особенности послѣдняго, весьма характерныя. Такъ, про себя скажу: никогда я не переживалъ съ такой остротой динамичности Достоевскаго, какъ при чтеніи книги Бердяева, именно благодаря статичности ея; никогда я такъ ясно не почувствовалъ всего своеобразія стремительного стиля Достоевскаго, какъ при сопоставленіи его съ внутреннѣеподвижнымъ языкомъ комментатора; никогда трагизмъ Достоевскаго не представился мнѣ столь жуткимъ какъ въ преломлениі мистического благодушія Бердяева.

Цитаты изъ Достоевскаго, встрѣчающіяся у его истолкователей, въ общемъ чрезвычайно опасны для послѣднихъ: въ такие моменты читателю (сужу по себѣ) хочется бросить въ большинствѣ случаевъ комментатора и немедленно перечесть самого Достоевскаго; настолько слова послѣдняго, внезапно потрясшія его, кажутся ему богаты исчерпаемо содержаниемъ по сравненію съ разсужденіями толкователей. Съ Бердяевымъ дѣло обстоитъ нѣсколько иначе: когда онъ приводить фразу Достоевскаго, испытываешь такое чувство, будто подхваченъ мгновенно какимъ то вихремъ... Но кончается цитата, замыкаются кавычки и вновь оказываешься на устойчивой землѣ. Я не хочу обезпечѣнить этимъ замѣчаніемъ мѣ-

ра Бердяева, но лишь указываю на особенность, его отличающую от міра Достоевского и затрудняющую Бердяеву вхождение въ этот столь прельстительный для него міръ.

«Достоевский изслѣдує динамические процессы въ жизни идей. Въ творчествѣ его поднимается огненный вихрь идей. Жизнь идей протекаетъ въ раскаленной, огненной атмосфѣрѣ; охлажденныхъ идей у Достоевского нѣть и огъ ими не интересуется. Поистинѣ въ Достоевскомъ есть что-то отъ Гераклитовскаго духа. Все въ немъ огненно и динамично, въ движениі, въ противорѣчіяхъ и въ борьбѣ. Идеи у Достоевского — не застывшія статическая категоріи; это огненные токи»... Бердяевъ много разъ варьируетъ эту мысль, характеристика его очень вѣрна. Но, къ сожалѣнью, мышленіе Бердяева самого отнюдь не динамично, отнюдь не огненно; я сравнилъ бы его съ ледяной глыбой; и очень характерно, что этотъ статичній столь безнадежно влюбленъ въ динамичность.

О, конечно, Бердяевъ эволюціонировалъ! Мы знаемъ откуда онъ вышелъ и познаемъ еще, куда онъ придетъ; во всякомъ случаѣ путь, пройденный имъ, кажется огромнымъ, его какъ будто хватить на два поколѣнія. Но процессъ его движений очень своеобразенъ: мышленіе Бердяева двигается толчками, какъ то сразу, цѣликомъ, отъ

одной позиціи къ другой, отъ одного устойчиваго момента къ другому, отъ одного состоянія равновѣсія — къ иному, не менѣе крѣпкому; и книги его отмѣчаютъ именно эти моменты устойчивости, равновѣсія, эти состоянія неподвижной увѣренности и самодовольства. Безпокойство, тревога, искаленіе, боренія — повидимому гдѣ-то тамъ, за кулисами; его кризисы протекаютъ въ промежуткѣ времени между его книгами, о нихъ знаетъ лишь онъ самъ, быть можетъ — близкіе. Читатель же всегда получаетъ результатъ, плодъ кризиса, т. е. новый догматъ.

Эволюція Бердяевскаго мышленія выражается въ смѣнѣ доктринъ и въ рядѣ философскихъ произведений, изъ которыхъ каждое отражаетъ не процессъ, его породившій, но спокойное удовлетвореніе, добывшее этимъ процессомъ. Въ предѣлахъ одной книги, напримѣръ, «Мироизъерцаніе Достоевскаго», нѣть движенія, нѣть процесса, нѣть поисковъ... Все здесь неподвижно, словно заживоюшая льдомъ водная поверхность. Бердяевъ много говорить о діалектицѣ Достоевскаго; слово «діалектика» — одно изъ любимыхъ выражений Бердяева; но мышленіе его не діалентично и потому онъ можетъ дать лишь рядъ фотографическихъ снимковъ съ гибкой живой подвижности Достоевскаго. Въ лучшемъ случаѣ, это

— кинематографъ, но кинематографическая лента запрѣпляющая въ ряды моментовъ сплошное движеніе — лишь иллюзія, обманъ.

Въ жизни духа Достоевскаго одинъ моментъ дѣйствительно порождаетъ другой, въ него переходить; и само это понятіе момента, т. е. точки, вводится нами въ эту жизнь искусственно, насилино, лишь въ цѣляхъ я уразумѣнія, осознанія. Мысль же Бердяева, передвижающаѧ одиць кускомъ, одной глыбой отъ станціи къ станціи, отъ одного догмата къ другому — внутренне исподвижна; она мѣняетъ лишь свое мѣсто въ духовномъ пространствѣ, по отношенію къ вѣнчанимъ для нея духовныхъ мірамъ; къ однѣмъ она приближается, отъ другихъ — удаляется; структура же ея, форма системы остается иезамѣнной, хотя охватываетъ она новые материалы, новые элементы. Величайшій же парадоксъ этого застывшаго мышленія въ томъ, что въ центрѣ ея возсѣдастъ идея свободы. Но міросозерцаніе Бердяева интересуетъ насъ не само по себѣ, а лишь постольку, поскольку способствуетъ намъ уразумѣть Достоевскаго.

Самый языкъ Бердяева помогаетъ намъ въ этомъ. Въ противоположность сложной фразѣ Достоевскаго, гдѣ главное предложеніе обрастаєтъ многочисленными придаточными предложениями, геархически

соподчиненными, строеніе фразы Бердяева отличается рѣдкостью русской литературы: простотой и, скажу даже — бѣдностью. У него нѣтъ почти придаточныхъ предложеній; фраза однообразно коротка: подлежащее, сказуемое, дополненіе, опредѣленіе. Форма ея струтуры большей частью можетъ быть сведена къ формамъ — А есть В. Это рядъ не связанныхъ между собою синтаксически и логически утвержденій, который отражаетъ въ своей распыленности статичность самого Бердяевскаго мышленія. Фраза Достоевскаго, подчасъ громоздкая, тяжелая, неповоротливая, полна, однако, стремленій и болѣзненнаго почти настороженія, въ этомъ некорректномъ и погода языкѣ есть что то захлебывающееся, мучительное задыхающееся отъ нетерпѣнія, отъ полноты, отъ простираемостей; фразы тѣсно примикаютъ одна къ другой, какъ бы вливаются одна въ другую. Простой бѣгъ ихъ мгновеніями становится непереносимымъ, жаждешь остановки, отдыха. Читая Бердяева, жаждешь, напротивъ, движенія, — если не полета, то, по крайней мѣрѣ, непрерывнаго, живого измѣненія. Есть, однако, что то блеклорадочное, беспокойное въ его коротенькихъ фразахъ, но не сущность стремительность, а сущность, не движение въ извѣстномъ направленіи, а бѣгъ на мѣсть.

Соответственно этому неподвижно застыло всякое произведение Бердяева во всяческих своих и в целомъ: идеи въ немъ не развиваются, а по кусочкамъ раскрываются. Нельзя даже сказать, что Бердяевъ излагаетъ свои идеи: онъ не способенъ излагать, ибо въ изложении есть все же хотя бы искусственное развитие, назначение движение; но Бердяевъ ходитъ вокругъ своей неподвижной мысли и какъ бы называетъ ее name то съ этой, то съ другой стороны, постоянно варьируя свою основную форму — А есть В, подставляя вместо «В», то «С», то «Д». Въ концѣ концовъ мы можемъ обозрѣть идеиную конструкцію Бердяева во всяческихъ подробностяхъ и со всяческими сторонами. Таковъ его методъ; онъ вправѣ имъ пользоваться; но примененіе его къ творчеству Достоевскаго угашаетъ окончательно этотъ пламенный духъ: вѣдь Достоевскій даже не излагаетъ своихъ идей, не развиваетъ ихъ; они сами въ немъ, эти иди-образы, развиваются, цвѣтутъ и плодятся по таинственнымъ законамъ художественнаго бытія.

Но противорѣчіе между Бердяевымъ и Достоевскимъ проникаетъ еще глубже. Бердяевъ съ особенной настойчивостью указываетъ на трагичность творчества Достоевскаго, на антиномичность его мышленія, на раздвоенность, поражающую

всѣхъ его героевъ: по Достоевскому «человѣческая природа полярна, антиномична, иррациональна»... «у русскаго Достоевскаго полярность божескаго и дьявольскаго начала; бурное столкновеніе свѣта и тьмы раскрывается въ самой глубинѣ бытія. Богъ и дьяволъ борются въ самыхъ глубинахъ человѣческаго духа. Зло имѣть глубинную, духовную природу»... «Достоевскому открывалось трагическое противорѣчіе... въ бытійственной бездѣлѣ... Если бы Достоевскій раскрылъ до конца ученіе о Богѣ, обѣ Абсолютномъ, то онъ пришлось бы признать полярность самой божественной природы, темную природу, бездѣлѣ въ Богѣ»... «И въ красотѣ видить Достоевскій «огненное движение, трагическое столкновеніе»... И далѣе еще читаю: «На Достоевскомъ нельзя построить эволюціонной теоріи зла, по которой зло есть лишь моментъ въ эволюціи добра. Такой эволюціонный оптимизмъ... совершенно противоположенъ трагическому духу Достоевскаго»...

Но вся работа Бердяева, весь смыслъ выѣдранія имъ своего собственного міросозерцанія въ міросозерцаніе Достоевскаго именно въ томъ и состоитъ, чтобы притупить жало раскрытыхъ Достоевскими противорѣчій, примирить антиноміи и найти выходъ изъ тупиковъ, куда заводить насъ Достоевскій. Но

нично, подиѣна эта соверша-
ется вполнѣ бесознательно;
вѣдь Бердяевъ убѣжденъ, что и
его мышленіе антиномично и
его міросозерцаніе трагично:
вѣдь въ центрѣ его міросозерца-
нія — идея свободы, точно такъ
же, какъ и у Достоевскаго!
Самая страшная идея!

Пусть не пугается, однако,
читатель! По природѣ своей
Бердяевъ — оптимистъ, мета-
физический оптимистъ, конечно,
или діалектический, и мисти-
цизмъ его — благодушенъ. Изъ
всѣхъ противорѣчій онъ всегда
находитъ выходъ:

Развоеніе? Но спасеніе отъ
развоенія въ «благодатной сво-
бодѣ, свободѣ въ Истинѣ, сво-
бодѣ во Христѣ».

Любовь? — «Достоевскій ут-
верждаетъ безысходный тра-
гизмъ любви»... «но Достоев-
скій недостаточно сознавалъ,
что природа человѣка андро-
гинна». «Не знаеть онъ истины
соединенія двухъ душъ въ еди-
ную душу и двухъ плотей въ
единую плоть». Значить, вы-
ходъ имѣется: трагедія любви
лишь временная, переходящая.
«Настоящая любовь есть утвер-
женіе вѣчности».

Страданіе? — Свобода? «Че-
ловѣкъ долженъ пройти черезъ
свободу... но путь свободы есть
путь страданія. И этотъ путь
страданія долженъ быть до кон-
ца пройденъ человѣкомъ». И
далѣе: «свобода человѣческая
достижаетъ своего окончательно-
го выраженія въ свободѣ выс-

шей, въ свободѣ въ Истинѣ.
Такова неотвратимая діалекти-
ка свободы. Она ведетъ къ пути
богочеловѣческому».

Если есть Истина съ большей
буквы, если діалектика свобо-
ды *неотвратимо* достигаетъ свѣ-
го выраженія въ свободѣ, въ
Истинѣ, если страданіе есть
путь, если гибель героеvъ До-
стоевскаго «свѣтоносна для
насъ», если «Трагедія ихъ есть
гимнъ свободѣ», если «преступ-
леніе съ внутренней неизѣбѣ-
нностью приводитъ къ наказа-
нію», если «зло должно сгорѣть»
и зло есть трагический путь,
опытъ, «который можетъ обога-
тить человѣка», если «во тьмѣ
возгорается свѣтъ», если «не
тьмѣ принадлежитъ у него (у
Достоевскаго) послѣднисс «слю-
во» и «сама тьма у него свѣто-
носна» — то намъ остается
только «рвкнуть осанну»; тра-
гедіи нѣть, все «добро зъю»,
и всѣ фразы о бытійственномъ
расколѣ, о глубочайшей анти-
номичности духа, о темной при-
родѣ въ Богѣ — все это одна
лишь литература или... ді-
лектика.

Очень много говорить Бердяевъ
о глубочайшихъ тайнахъ,
о вѣчныхъ загадкахъ; но, въ
сущности, для него, въ его ис-
треживаніи — нѣть ни тайнъ,
ни загадокъ: на самые жуткие
вопросы у него имѣются спаси-
тельные отвѣты. Если Достоевскій
часто оставляетъ насъ
между «Да» и «Нѣть», какъ учи-
зываешь самъ Бердяевъ, то по-

следний всегда владеет положительным отвѣтомъ, и «тревога» для него всегда — лишь діалектическій моментъ, который *долженъ* быть преодолѣнъ, ибо за кулисами уже паготовъ у него какой нибудь Deus ex machina: андрогинизмъ-ли, Истина-ли... Христосъ...

Страстно, однако, онъ утверждаетъ свободу, но потому лишь, что онъ зритъ уже ся *необходимое увѣличаше:* свободу во Христѣ. Въ противоположность Достоевскому въ Бердиевѣ нѣть жажды риска, въ немъ нѣть ничего подозрѣнаго, и

не чувствуетъ онъ того, что чувствуетъ Достоевскій, т.е. реальной опасности свободы, не только для Раскольникова, для Ставрогина, но для всего «Божьяго дѣла», для той «гармонии», для того «рая», о которомъ онъ мечтаѣтъ: вѣдь если «Дьяволъ дѣйствительно борется съ Богомъ въ сердцѣ человѣка», и если мы свободны, то гарантіи нѣть для побѣды Христа и вольны мы, въ концѣ концовъ, испортить всю гармонію, отказаться отъ свѣта, отъ Истины и передать себя и міръ весь чорту.

Б. Шлецеръ.

КУДА ВЕДЕТЬ БОЛЬШЕВИСТСКІЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМЪ?

Поражающую весь міръ безприципную политику, допускающую самые неожиданные зигзаги и повороты, большевики искусно вуалируютъ теоретическими построениями, предназначеными для оправданий и осмысливания своей тактики, приспособленія и созданія нужнаго имъ общественнаго мнѣнія. Къ числу такихъ построений принадлежитъ и теорія государственного капитализма, господствующая нынѣ въ Р.К. П., и до некоторой степени опредѣляющая совѣтскую экономическую политику послѣдняго времени.

Теорій государственного капитализма было двѣ, находившіяся въ непримиримомъ противорѣчіи другъ съ другомъ — это теоріи Бухарина и Ленина. Но теоріи у большевиковъ на службѣ у практики, и въ разное время торжествовали то постронніе, которое оказывалось болѣе отвѣчающимъ потребностямъ момента.

Ленинъ со свойственной ему реалистичностью мышленія пытался еще въ 1918 г. убѣдить партію въ томъ, что «государственный капитализмъ быть бы шагомъ впередъ противъ тогдашняго положенія вещей въ